

КОНЬЯЧОК С ТОЛСТЫМ



АНАСТАСИЯ АСТАФЬЕВА

Родилась в 1975 году в Вологде.

Рассказ «Темная ночь» удостоился первой премии Первого международного литературного конкурса «Линия фронта», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Киноповесть «Столетник с медом» вошла в шорт-лист конкурса сценариев

18-го Международного кинофестиваля «Лучезарный ангел». Сборник рассказов «Для особого случая» вошел в шорт-лист Всероссийского литературного конкурса «Чистая книга» имени Федора Абрамова (отмечен специальной премией «За сохранение и развитие традиционных идеалов и ценностей отечественной словесности») и в шорт-лист Лите-

ратурной премии «Ясная Поляна», а книга «Столетник с медом. Три повести о детстве» — в лонг-лист Международной премии имени Фазиля Искандера. Член Союза российских писателей. Окончила Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А. М. Горького, Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения.

Мне пять лет. Мы с мамой читаем книгу «Два товарища» – басни Эзопа в переложении Льва Толстого. Вместе разбираем смысл и отыскиваем поучительное зерно в коротких, но бездонно мудрых притчах. Я до сих пор помню каждую картинку из той книжечки в непривычно-грубоватом для пальцев холщовом переплете, на передней обложке которой нарисованы два крестьянских мальчика: один забрался на дерево, а другой лежит на земле, и его обнюхивает медведь.

Это была моя первая «настольная книга». Научившись читать, я раз за разом перелистывала уже наизусть знакомые тексты, рассматривала иллюстрации, раздумывала над сюжетами: для чего мальчик все время кричал «Волки! Волки!», почему лошадь всегда была недовольна хозяином, отчего мужик не выпил море, как обещал, зачем старуха, придя на свадьбу, поставила перед дверью чурбан... Только став взрослой, я поняла, что в этих баснях заложены вся мудрость жизни, зерна советов и ключи к понимаю поступков других людей.

Тогда же, очарованная этой книжкой, я по-детски полюбила мудрого и строгого дедушку Толстого. И однажды спросила маму:

– А он живой или умер?

– Давно умер, – ответила она.

– Жа-аль... Хотела бы я с ним встретиться, поговорить...

Детская жизнь запрыгала звонким мячиком дальше.

Только почему-то всегда от словосочетания «Ясная Поляна» сладкая и трепетная волна подкатывала к моему сердцу...

* * *

Питер. Любимый, обожаемый, но все-таки «каменный мешок». Лето 2013 года я провела в городе, в жаре, в пыли, в работе. Ни разу не удалось выехать за город, искупаться, поваляться на траве, в небо посмотреть. Режим работы в должности заместителя директора крупного международного кинофестиваля описать легко: упал-отжался. Мы уже давно пахали без выходных, нередко забывая пообедать, посмеиваясь, что и ночевать пора оставаться в офисе. Дома – клубками каталась по полу пыль, вяли цветы, дичали кошки, друзья и родные дулись на полный игнор. А мы не тратили время на разъяснения, что нам, как марафонцам, необходимо добежать до финиша – до самого фестиваля, провести его, а потом можно и упасть. Хоть в гроб. За этой чертой – за фестивалем – мы уже никому особенно и не интересны, и не нужны.

Я, конечно, трудоголик. Я невероятно стрессоустойчивый и работоспособный человек. Гиперответственный. Исполнительный. Требовательный

опавшей листы. Холодное и отчужденное солнце встает над Ясной Поляной медленно.

Позади остался большой сонный пруд, дальше – луговина, где растет несколько яблонь. Трава под ними скошена. Земля усыпана крупными желтыми яблоками. Среди яблонь пасутся лошади – одна светлая и две коричневых. Они меланхолично переступают ногами. Подбирают с земли опавшую антоновку и сосредоточенно разжевывают ее.

Я стою и заворуженно смотрю на них, одновременно прислушиваясь к пространству. Примут или нет?..

...Все детство в моей комнате висела репродукция картины Бориса Щербакова, где яснополянский старец стоит среди березок, привычно сунув ладонь за пояс. Я часто внимательно вглядывалась в его лицо. Суровый, строгий, косматый, Толстой внимательно следил за всем, что я делала, и обязательно осуждал за плохие поступки. Вот и сейчас я бреду березовой аллеей, а мне чудится, что он уже наблюдает за мной, присматривается...

Кажется, он все-таки здесь, неподалеку, но пока не выдает своего присутствия. Иду дальше. Впереди белый двухэтажный дом, хорошо знакомый, много раз виденный на картинках и в кинофильмах. Я не нарушу данного слова и к дому не подойду, а потому сворачиваю вправо: вижу теплицу и оранжерею, на всякий случай решаю к ним тоже не приближаться и спускаюсь еще левее, к березовому мосточку, а там – и ко второму пруду. Здесь влажно, прохладно, таинственно.

– Здравствуйте, Лев Николаевич! – проговариваю вслух.

«Долго же ты ехала... барышня...» – строго.

– Самой стыдно...

«Ну да ладно. Всему свой срок... Значит, дозрела...» – милостиво.

– Как хорошо, что меня к вам пропустили. Нет никого. Я вот именно так и хотела. Чтобы... услышать. Чтобы поговорить...

«Набегут-ут скоро... Наедут... Хватит нам ча-са-то? Поговорить...» – с иронической улыбкой.

– Хватит... – выдыхаю я.

«Поди, вечные вопросы задавать будешь? Про писательство? Про жизнь? Про любовь?..» – строг с виду, а глаза смеются.

Конечно! Приехала тут, очередная!

– Вот вы все мои вопросы и знаете...

«Дак ничего нового! Человек и его страсти. А ты каких ответов хочешь? Удобных?»

– Нет. Честных хочу...

«Ишь... Честных она хочет...»

Идем молча по дорожке. Я вижу лавочку и, вдруг раздухарившись, предлагаю:

– А не закусить ли нам, Лев Николаевич? Глядишь, и беседа легче пойдет!

«Почему бы и нет! Чего ты там припасла?» – благодушно отзывается Толстой.

Я присаживаюсь на лавочку слева. Развязываю рюкзачок. Постилаю между нами – Лев Николаевич присел справа – чистое полотенце. Достая и выкладывая на него нарезанный хлеб, сыр, маринованные огурцы и, в довершение всего, плоскую бутылочку коньяка.

– Согреться бы надо... – пытаюсь оправдываться. – Ноги промокли, не простыть бы...

«Можно по глоточку. Но – только в лечебных целях!»

Я радостно достаю одноразовые стаканчики – уж простите, что так, по-походному – наливаю по чуть-чуть, едва доньшко скрыло.

«Ну, чего уж, – гудит Лев Николаевич, – только нос пачкать...»

Добавляю. Ловко делаю себе и ему по бутерброду. Чокаемся. Выпиваем. Хрустим огурчиком. Молчим, прислушиваясь к разливающемуся по телу теплу.

– Между первой и второй? – подмигиваю я великому писателю.

«Ты смотри у меня!» – грозит он мне пальцем.

Но я быстренько наливаю по трети стаканчика.

– Спасибо... – говорю тихо.

«За что?»

– Что приняли...

«Куда ж от вас деваться? Вы – дети мои. Приезжаете к папке, к дедке, кто с чем: спаси, объясни, пожалей... Ну, долго греть будем?»

Выпили. Жую бутерброды.

Тело расслабилось. Стало тепло, уютно. Все понятно стало вдруг. И говорить вроде не о чем и уже не нужно. Просто сидеть вот так рядом, дышать, смотреть, как лучи солнца поджигают и без того огненно-желтую листву берез и лип. Что может быть лучше молчаливого общения? Что может быть лучше соприкосновения душ? Каких громких и пафосных слов, каких увещаний, истин, аксиом жду я от Льва Николаевича? Что научит жить? Не страдать, не мучиться? Не совершать глупостей и подлостей? Поможет стать счастливее и талантливее? Терпимее и добрее? Вот он сидит рядом, смотрит прямо в душу мне и все про меня знает. А я вижу, что взгляд его устал, измучен, глаза воспалены и слезятся, вижу его большую седую голову и спутанную бороду, про-

сеченный многими глубокими морщинами высокий лоб; на руки его смотрю – не дворянские руки, не изнеженные – это руки офицера и труженика, и это самые настоящие писательские руки. Кому из нас дано дожить до внутреннего возраста Толстого? До его мудрости и постижения мира? А для этого пройти жизнь – как говорит восточная пословица – в его башмаках. Нет, у каждого башмаки свои. И постижения свои. Чужим опытом и умом никто еще не прожил. Наверное, мне в действительности хочется отеческого не осуждающего понимания, просто объятия, просто ощутить рукой подбадривающее пожатие сухой крепкой ладони. И этого заряда хватит на всю жизнь! За этим я сюда и приехала.

– Думаю, может, бросить мне писать?

«Пококетничать решила? – фыркнул Толстой. – Хочешь, чтоб похвалил?.. Ты-то его бросишь, а оно-то тебя нет...»

– Жила бы, как все... Нормальной бабьей жизнью. А у меня все всегда с ног на голову. Все не как у людей.

«Дак тебе же скучно “как все”! Зачем сама себя запутываешь?! Потому что чуть потруднее, и ты уже готова отказаться от мечты, от цели, с дороги свернуть. “Соскочить” – как вы это теперь говорите!»

– И влюбляюсь постоянно не в тех... Неправильно влюбляюсь...

«Что за зоосад у тебя в голове, девица? Дело уж к сорока, а все полет фантазии, все жить собираешься... – осерчал классик. – А жизнь-то, вот она, утекает капля за каплей. И позади река, и впереди – море. Попробуй-ка, выпей это море! Работай, трудись, не ной, не жалуйся... Вот все, что скажу!»

Повисла трудная, долгая тишина.

Я не сразу решилась взглянуть на Льва Николаевича. А когда посмела, то увидела, что сидит тот печальный, ссутуленный и словно... беспомощный.

«А главное, никто не знает, как правильно. Жить... Любить... Верить...» – произнес он раздумчиво. И вдруг посмотрел мне прямо в глаза и добавил растерянно: «И я... не знаю...»

Толстой очень стар. Те немногие граммы коньяка, что он выпил вместе со мной, действуют на него – в отличие от меня, пободревшей, – угнетающе. Ему хочется прилечь, отдохнуть. И уже мягче, сердечнее, он произносит: «Ты походи тут, погуляй пока сама. Я сосну с полчасика. А потом уж на могилку сходим...»

Я быстро собираю оставшуюся провизию в рюкзаки. Провожу Толстого до дома, а сама ухожу дальше от строений, в лес, в поле. По пути собираю гостинцы от Льва Николаевича: под яблонями поднимаю душистую антоновку, в перелеске нахожу несколько крепких и чистых грибов-подберезовиков, вдоль тропы, над которой растут высокие стройные деревья, собираю в пакетик гладкие влажные желуди. Их так много насыпалось, жадность и азарт захватывают меня: вот еще этот, и вот тот, ну и этот – такой крепенький! Уже карман куртки заметно отяжелел, а я не могу остановиться.

Яснополянский парк и лес вокруг наполнен духами. Они не стесняются посетителей, прорастают на ветвях и стволах деревьев удивительными наслоениями коры, силуэтами, подчас истинно напоминающими очертания то невысокого человечка в нахлобученной шапке, то сгорбленного бородатого старичка, то усевшегося на суку лесовичка. Ревностно следят за нами, чтобы не нарушали мы вековечного покоя и уклада усадьбы...

И вдруг – колодец посреди леса, простой бревенчатый сруб. Даже оторопь взяла, увиделось в этом что-то магическое, таинственное, словно это портал в иной мир – нагнешься посмотреть, а тебя за горло склизкой рукой ухватят и утащат в бездонность. Поэтому я очень осторожно, боясь оскользнуться на размокшей глинистой почве, подхожу к колодцу и, даже приблизившись вплотную, заглядываю в него не сразу, не смело. А после долго стою, всматриваясь в близкую черную воду, угадывая в склоненной тени свое собственное отражение и до дрожи ожидая, нет, даже моля увидеть рядом еще один силуэт – Льва Николаевича. Покажись! Ведь неспроста здесь, в лесу, этот колодец, это водное зеркало, обрамленное бревенчатым срубом, над которым нет крыши, чтобы небо непременно отражалось в глубине, чтобы склонившийся над зияющей чернотой человек увидел себя опрокинутым, придавленным этим небом. Чтобы заглянул не просто в колодец, а в саму свою душу...

Я долго после сидела рядом на сыром поваленном стволе. Силы вдруг оставили меня. Тоска ли, совесть ли, общечеловеческая печаль ли сжались в солнечном сплетении и не отпускали. Сколько душ живых заглядывало в этот колодец с момента его постройки? Хотя и понятно, что сруб старел и гнил, что его не раз восстанавливали, что вода в нем уходила глубже жаркими летами и вновь поднималась с уровнем грунтовых

вод в межсезонье, но твердь небесная оставалась над ним неизменной. И словно крепкая, суровая отеческая рука давила на затылок, склоняя повинную голову ниже, ниже. И потому каждый видел в отражении себя настоящим, и если уж плевал в колодец, то плевал в увиденное вдруг уродливое нутро свое.

Бреду по тропе дальше в лес, понимая, что ликование всего этого волшебного утра почти угасло во мне, что «вечные» вопросы по-прежнему требуют ответа, и маета эта, от которой я все свои годы пытаюсь убежать, не только не отпустит меня по возвращении домой, а, возможно, возрастет десятикратно. Но тут пальцы мои сжимают в кармане куртки пакетик с желудями, и счастливая мысль о непрерывности жизни, о ее неизменном возрождении окатывает изнутри горячей волной, и тропинка как нельзя кстати выводит меня из темной дубравы на открытое поле – ясное, светлое даже в это пасмурное утро. Вот она – ясная поляна! Вот в чем суть! Пробыться, продраться сквозь тьму, чтобы оказаться на чистом открытом месте, на воле и, преодолев сдавивший горло спазм страха перед жизнью, вдохнуть с наслаждением полной грудью и обновиться душой и телом.

Время потеряло свое значение – никаких признаков цивилизации двадцать первого века – только лес, поле, небо, подернутое перистой дымкой. Кажется, так же было здесь и сто лет назад, и двести, и тысячу. По полю мог идти пахарь с сохой, по вот этой коленистой дороге могла проехать двуконная бричка или романтическая пара верхом, а могла случиться и кровавая битва, и ураган, и град побил бы всходы... Но все равно встанет утром солнце, взойдут ростки будущих яснополянских деревьев, трава пробьется, цветы расцветут, птахи пролетят, а тропы человеческие затянутся, зарастут, сокроются. И что останется? Память. Дух эпохи. След дел людских – ладно, если добрых, которым достойно сохраниться в памяти потомков на века...

К дому Толстого я вернулась в тот момент, когда солнце засияло над миром во всю мощь и округа ожила. Усадьба постепенно наполнялась людьми: рабочие мели дорожки, убрали на клумбах отжившие свое растения и цветы, около конюшни топтались куры во главе с красавцем-петухом, трое дельных мужичков заменяли соломенную крышу на старинном овине.

Мне оставалось посетить главное место в усадьбе – могилу Льва Николаевича. Признать-

ся, шла я туда с трудом, даже чувствуя, что дух хозяина вновь присоединился ко мне.

«Все у тебя ладно будет, – говорит он тихо, доверительно. – Легко – не обещаю, а что должно сбыться – сбудется. Не торопи жизнь. Не беги... И спасибо, что навестила старика...»

Тропинка уводила все глубже в лес, становилось сумрачно и сыро. С половины пути сердце мое заколотилось тревожнее и быстрее.

И вот я стою перед ровным зеленым холмиком.

...Мне семь лет. Мы с мамой смотрим телеверсию спектакля по пьесе Иона Друцэ «Возвращение на круги своя».

«Левочка, – плачет Софья Андреевна, – почему ты на меня сердиться? И сколько эта наша ссора будет продолжаться, ведь не может же она быть бесконечной...»

Толстой-Ильинский сидит неподвижно и лишь изредка отвечает жене.

«Поговори со мной, Левочка. Я не люблю, когда ты, сидя рядом, думаешь о другом».

Я прижимаюсь к маме. Сердце бьется в волнении.

И вот наступает момент, когда Лев Николаевич решает навсегда уйти из дому...

Это так тревожно, так страшно, такое непреодолимое несчастье разлито в воздухе, что мои пальцы невольно впиваются в мамину руку. Ладошки вспотели.

– Зачем-ем? – отчаянно спрашиваю я.

– Он не может больше жить в богатстве. Кругом столько бедных. Стыдно ему, – поясняет мама наиболее доступно, как ей кажется, для ребенка.

А я неподдельно, глубоко страдаю, всей детской душой постигнув вдруг одиночество Толстого, представляя холод и мрак, в которые уходит великий человек. И точно знаю, что это конец...

Здесь, у могилы, я отчетливо почувствовала, как связь с тонким миром разорвалась. Даже поняла, в какой момент: налетел ветер, качнул вершины деревьев и вновь затих. Но именно в этот миг дух Толстого растворился в потоке воздуха. Я осталась одна под сенью деревьев. Отведенные мне минуты общения закончились. Песок в песочных часах перетек в нижнюю чашу до последней крупинцы. Теперь нужно перевернуть часы и начать новый отсчет...

На выходе из усадьбы я сталкиваюсь с первой группой посетителей – школьников привезли на

экскурсию. Ленивой вереницей, сонно поживаясь, входят они в главные ворота и тянутся вверх по «прешпекту», к дому классика.

* * *

Я провела два прекрасных дня в Туле, гуляя по осеннему городу, сохраняя торжественное состояние души и редкую телесную легкость и подвижность. Воодушевление это хотелось сбросить как можно дольше, особенно там, куда я возвращалась.

Стоя на перроне тульского вокзала в ожидании поезда, я притормаживала ум и мысли, которые уже устремлялись к дню завтрашнему, к работе, к заботам. Но суета настигла раньше.

Войдя в вагон, я обнаружила, что место мое занято. Забыв про накопленную благость, не удержалась и всплила, а затем резко ощутила отчаяние. Поезд уже трогался, проводник был занят в тамбуре, и никому не было до меня дела. От навалившейся чудовищной усталости страшно захотелось спать. Пассажиры уже устраивались на ночь, а мне приходилось отупело стоять в проходе, дожидаясь хозяина вагона.

Когда он внимательно разглядел мой проездной документ, все стало ясно: милейшая кассирша оформила обратный билет на октябрь! На нужную мне дату, но на месяц позже. От осознания этого волосы зашевелились на голове: теперь меня по правилам должны посадить на следующей станции, а денег в кармане всего ничего, на новый билет не хватит. И кому звонить в ночи? Куда бежать?

Весь восторг волшебных дней свернулся в сухую берестиночку и готов был вспыхнуть, испепелиться и бездарно рассеяться в дорожной нервотрепке...

Но... тут на меня снизошло полнейшее умиротворение, как будто кто-то окутал теплым пледом и обнял сильными руками, взяв под защиту.

– Есть одно свободное место в вагоне, – как-то совсем просто сказал молодой проводник, – ложитесь пока туда. Но если кто-то сядет в пути, вам придется его освободить.

Приняв комплект постельного белья, я мышкой юркнула к свободной нижней боковушке, мгновенно устелилась и легла – ни жива ни мертва.

В тяжелой напряженной дремоте, то проваливаясь куда-то, то вздрагивая, промаялась несколько часов. Но усталость переборолла, я уснула... и открыла глаза, когда поезд уже мчался по Ленинградской области. Волшебство продолжалось:

меня не только не посадили с поезда, но и на эту боковушку так никто за весь путь и не посягнул!

Я потом пыталась сунуть проводнику свои последние пятьсот рублей, мол, больше нет, а благодарность моя бесконечна и бездонна. Но он так и не взял. Зато всерьез посоветовал сдать октябрьский билет в кассу и получить за него деньги!

В горле запершило, слезы оказались близко: не слишком ли много милостей для меня одной? Заслуженно ли? И что грядет за этими чудесами?..

* * *

Фестивальный офис гудел. Все много говорили, бегали, звонили по телефонам, на ходу заваривая кофе, выкуривая сигарету. А я еще несла в себе блаженный покой, которым невозможно было поделиться, и так не хотелось вливаться во всю эту земную круговерть...

Выложив на общий кухонный стол яснополянскую антоновку и тульские пряники, я пригласила всех угощаться. Народ набежал, похватал по куску и вернулся к работе. Я налила себе чаю... да так и замерла с кружкой. Сегодня 11 сентября. Два дня назад, 9 сентября, я приехала к Льву Николаевичу... Как раз на день его рождения! Совсем не сознавая этого! А может, это он позвал меня?.. От этой мысли сделалось торжественно на душе. Но не только... что-то теплое, нежное, тайное вновь окатило изнутри.

– Ну что, Ася, как поездка? Скучали по нам? – зайдя на кухню, в своей привычной саркастической тональности вопрошала директор. – Что это у вас такое торжественное лицо?

Она откусила яблоко и пристально всмотрелась в меня.

– По-моему, ты где-то очень далеко. Но, увы, пора спускаться на грешную землю. Через три дня у нас открытие. Допивай чай и начинай обзванивать прессу. Плюс с тебя письмо в комитет. Приглашительные проконтролировать – завтра развозка... Так, что еще... что еще... Какие кислые яблоки! Хотя и от Льва Николаевича!

Она оставила надкушенную антоновку на столе и, уходя, призвала:

– Работать! Работать!

А я вдруг вспомнила про желуди в кармане куртки. Боясь, что они сопреют в пакете, высыпала в глубокое блюдечко и, пока пила остывший чай, перебирала их, приятно прохладные, глянцево...

